



**ПЕТРОНИЙ АРБИТР  
САТИРИКОН**

Петроний Арбитр  
**Сатирикон**

«Public Domain»

I век н. э.

УДК 821'01  
ББК 84(0)3

## **Петроний Арбитр**

Сатирикон / Петроний Арбитр — «Public Domain», I век н. э.

«...Но разве не тем же безумием одержимы декламаторы, вопящие: „Эти раны я получил, сражаясь за свободу отечества, ради вас я потерял этот глаз. Дайте мне вожатого, да отведет он меня к чадам моим, ибо не держат изувеченные стопы тела моего“. Впрочем, все это еще было бы терпимо, если бы открывало стремящимся путь к красноречию. Но пока от всей этой высокопарности, этих велеречиво-пустых сентенций одна польза: стоит попасть на форум, кажется, будто ты попал в другую часть света. Потому, я думаю, и выходят дети из школ дураки дураками, что ничего жизненного, обычного они там не видят и не слышат, а только и узнают что про пиратов, торчащих с цепями на морском берегу, про тиранов, подписывающих указы с повелением детям обезглавливать собственных отцов, да про дев, приносимых в жертву по три сразу, а то и больше, по слову оракула, во избавление от чумы, да еще учатся говорить сладко да гладко, так что все слова и дела похожи на шарики, посыпанные маком и кунжутом...»

УДК 821'01  
ББК 84(0)3

© Петроний Арбитр, I век н. э.  
© Public Domain, I век н. э.

## Петроний Сатирикон

1. – ...Но разве не тем же безумием одержимы декламаторы, вопящие: «Эти раны я получил, сражаясь за свободу отечества, ради вас я потерял этот глаз. Дайте мне вожагого, да ответит он меня к чадам моим, ибо не держат изувеченные стопы тела моего».

Впрочем, все это еще было бы терпимо, если бы открывало стремящимся путь к красноречию. Но пока от всей этой высокопарности, этих велеречиво-пустых сентенций одна польза: стоит попасть на форум, кажется, будто ты попал в другую часть света. Потому, я думаю, и выходят дети из школ дураки дураками, что ничего жизненного, обычного они там не видят и не слышат, а только и узнают что про пиратов, торчащих с цепями на морском берегу, про тиранов, подписывающих указы с повелением детям обезглавливать собственных отцов, да про дев, приносимых в жертву по три сразу, а то и больше, по слову оракула, во избавление от чумы, да еще учатся говорить сладко да гладко, так что все слова и дела похожи на шарики, посыпанные маком и кунжутом.

2. Разве можно на такой пище добиться тонкого вкуса? Да не больше, чем благоухать, живя на кухне. О риторы, не во гнев вам будь сказано, вы-то и погубили красноречие! Из-за вашего звонкого пустословия сделалось оно общим посмешищем, по вашей вине бессильным и дряхлым стало тело речи. Юноши не упражнялись в «декламациях» в те времена, когда Софокл и Еврипид находили слова, какие были необходимы. Начетчик, не выдавший солнца, еще не губил дарований во дни, когда даже Пиндар и девять лириков не дерзали писать Гомеровым стихом. Да что говорить о поэтах! Ведь ни Платон, ни Демосфен, конечно, не предавались такого рода упражнениям. Истинно возвышенное и, так сказать, целомудренное красноречие прекрасно своей природной красотой, а не вычурностью и напыщенностью. Лишь недавно это надутое, пустое многоречие прокралось в Афины из Азии и, словно вредоносная звезда, наслало заразу, овладевшую умами молодежи, стремящейся к возвышенному, и вот, когда подточены были законы красноречия, оно замерло в застое и онемело. Кто из потомков достиг славы Фукидида или Гиперида? Даже стихи более не блещут здоровым румянцем: все они точно вскормлены одной и той же пищей; ни одно не доживает до седых волос. Живописи суждена та же участь, после того как наглость египтян донельзя упростила это высокое искусство.

3. Агамемнон не мог потерпеть, чтобы я дольше разглагольствовал под портиком, чем он потел в школе.

– Юноша, – сказал он, – речь твоя не считается со вкусами толпы и полна здравого смысла, что теперь особенно редко встречается. Поэтому я не скрою от тебя тайн нашего искусства. Менее всего виноваты в этом деле учителя, которым поневоле приходится бесноваться среди бесноватых. Ибо, начни учителя преподавать не то, что нравится мальчишкам, – «они остались бы в школах одни», как сказал Цицерон. В этом случае они поступают совершенно как льстецы-притворщики, желающие попасть на обед к богачу: только о том и заботятся, как бы сказать что-нибудь такое, что, по их мнению, приятно слушателям, ибо без силков лести им никогда не добиться своего. Вот так и учитель красноречия: если, подобно рыбаку, он не взденет на крючок ту приманку, на которую рыбешка наверняка клюнет, то и останется сидеть на скале без надежды на улов.

4. Что же следует из этого? Порицания достойны родители, не желающие воспитывать своих детей в строгих правилах. Во-первых, они и тут, как во всем прочем, свои надежды посвящают честолюбию. Во-вторых, торопясь скорее достичь желаемого, гонят недоучек на форум, и красноречие, которое, по их собственному признанию, стоит выше всего на свете, отдается в руки молокососов. Вот если бы они допустили, чтобы учение шло постепенно, чтобы учащиеся юноши орошали душу лишь серьезным чтением и воспитывались по правилам муд-

рости, чтобы они безжалостно стирали все лишние слова, чтобы они внимательно прислушались к речам тех, кому захотят подражать, и убеждались в том, что прельщающее их вовсе не великолепно, – тогда возвышенное красноречие обрело бы вновь достойное его величие. Теперь же мальчишки дурачатся в школах, а над юношами смеются на форуме, и хуже всего то, что кто смолоду плохо обучен, тот до старости в этом не сознаётся. Но дабы ты не возомнил, будто я не одобряю непритязательных импровизаций, вроде Луцилиевых, я и сам то, что думаю, скажу стихами.

5.

Науки строгой кто желает плод видеть,  
Пускай к высоким мыслям обратит ум свой,  
Суровым воздержаньем закалит нравы:  
Тщеславно пусть не ищет он палат гордых,  
К пирам обжор не льнет, как блюдолиз жалкий,  
Не заливает пусть вином свой ум острый,  
Пусть пред подмостками он не сидит днями,  
С венком в кудрях, рукоплеща игре мимов.

Если же мил ему град Тритонии оруженосной,  
Или по сердцу пришлось поселение лакедемонян,  
Или постройка Сирен – пусть отдаст он поэзии юность,  
Чтобы с веселой душой вкушать от струи меонийской,  
После, бразды повернув, перекинется к пастве Сократа,  
Будет свободно бряцать Демосфеновым мощным оружием.

Далее – римлян толпа пусть обступит его и, изгнавши  
Греческий звук из речей, их дух незаметно изменит.  
Форум покинув, порой пусть заполнит страницу стихами,  
Чтобы Фортуна воспеть и полет ее окрыленный.  
Пой о пирах и о войнах сложи суровую песню,  
В слоге возвышенном так с Цицероном бесстрашным сравнишься.  
Вот чем тебе надлежит напоить свою грудь, чтоб широким  
Вольным потоком речей излить пиэрийскую душу.

6. Я так заслушался этих слов, что не заметил исчезновения Аскилта. Пока я шагал по саду, все еще взволнованный сказанным, портик наполнился огромной толпой молодежи, возвращавшейся, как мне кажется, с импровизированной речи какого-то неизвестного, отвечавшего на «свазорию» Агамемнона. Пока эти молодые люди, осуждая строй речи, насмехались над ее содержанием, я потихоньку ушел, желая разыскать Аскилта. Но, к несчастью, я ни дороги точно не знал, ни местоположения нашей гостиницы не помнил. В какую бы сторону я ни направлялся – все приходил на прежнее место. Наконец, утомленный бегом и весь обливаясь потом, я обратился к какой-то старушонке, торговавшей овощами:

7. – Матушка, – сказал я, – не знаешь ли, часом, где я живу?

– Как не знать! – отвечала она, рассмеявшись столь глупой шутке. А сама встала и пошла впереди. Я решил в душе, что она ясновидящая... Вскоре, однако, эта шутивая старуха, заведя меня в глухой переулок, распахнула лоскутную завесу и сказала: – Вот где ты должен жить.

Пока я уверял ее, что не знаю этого дома, я увидел внутри какие-то надписи, голых потаскушек и украдкой разгуливавших между ними мужчин. Слишком поздно я понял, что попал в трущобу. Проклиная вероломную старушонку, я, закрыв плащом голову, бегом бросился через

весь лупанар в другой конец, – и вдруг, уже у самого выхода, меня нагнал Аскилт, тоже полумертвый от усталости. Можно было подумать, что его привела сюда та же старушонка. Я ответил ему насмешливый поклон и осведомился, что, собственно, он делает в столь постыдном месте?

8. Он вытер руками пот и сказал:

– Если бы ты только знал, что со мною случилось!

– Почему мне знать, – отвечал я.

Он же в изнеможении рассказал следующее:

– Я долго бродил по всему городу и никак не мог найти нашего пристанища. Вдруг ко мне подходит некий почтенный муж и любезно предлагает проводить меня. Какими-то темными закоулками он провел меня сюда и, вытащив кошелек, стал соблазнять меня на стыдное дело. Хозяйка уже получила плату за комнату, он уже вцепился в меня... и, не будь я сильнее его, мне пришлось бы плохо...

Все они словно сатириконом опились...

Общими усилиями мы избавились от назойливого...

\* \* \*

9. Наконец, как в тумане, завидел я Гитона, стоявшего на обочине переулочка, и бросился туда же... Когда я обратился к нему с вопросом, приготовил ли нам братец что-нибудь на обед, мальчик сел на кровать и стал большим пальцем вытирать обильные слезы. Тронутый видом брата, я спросил, что случилось. Он ответил нехотя и не скоро, лишь после того как мои просьбы стали сердитыми:

– Этот вот, твой братец или товарищ, прибежал незадолго до тебя и стал посягать на мою чистоту. Когда же я закричал, он обнажил меч, говоря: «Если ты Лукреция, то я твой Тарквиний».

Услыхав это, я едва не выцарапал глаза Аскилту.

– Что скажешь ты, потаскуха мужского пола, чье самое дыхание нечисто? – кричал я.

Аскилт же, притворяясь страшно разгневанным и размахивая руками, заорал еще пуще меня:

– Замолчишь ли ты, гладиатор поганый, отброс арены! Замолчишь ли, ночной грабитель, никогда не преломивший копья с порядочной женщиной, даже в те времена, когда ты был еще способен к этому! Ведь я точно так же был твоим братцем в цветнике, как этот мальчишка – в гостинице.

– Ты удрал во время моего разговора с наставником! – упрекнул его я.

10. – А что мне оставалось делать, дурак ты этакий? Я умирал с голоду. Неужто же я должен был выслушивать ваши рассуждения о битой посуде и цитаты из сонника? Поистине, ты поступил много гнуснее меня, когда расхваливал поэта, чтобы пообедать в гостях...

Так наша безобразная ссора разрешилась смехом, и мы мирно заговорили о другом...

Снова вспомнив обиды, я сказал:

– Аскилт, я чувствую, что у нас с тобой не будет ладу. Поэтому разделим наши общие пожитки, разоидемся и постараемся прогнать нашу бедность каждый порознь. И ты сведущ в словесности, и я. Но, чтобы тебе не мешать, я изберу другой род занятий, не то нам придется на каждом шагу сталкиваться, и мы скоро станем притчей во языцех.

Аскилт согласился.

– Сегодня, – сказал он, – мы, как риторы, приглашены на пир. Не будем попусту терять ночь. Завтра же, если угодно, я подыщу себе и другого товарища, и другое жилище.

– Глупо откладывать до завтра то, что хочешь сделать сегодня, – возразил я...

Страсть торопила меня к скорейшему разрыву. Уже давно жаждал я избавиться от этого несносного стража, чтобы снова взяться с Гитоном за старое...

\* \* \*

12. Уже смеркалось, когда мы пришли на форум, где увидели целые груды товаров, недорогих, но сомнительного качества, что, однако, легко было скрыть в наступивших сумерках. По той же причине и мы притащили с собой украденный плащ и, воспользовавшись удобным случаем, устроились на углу и стали помахивать одной его полою, в расчете приманить покупателя столь роскошной вещью. Вскоре к нам подошел знакомый мне по виду поселянин, в сопровождении какой-то бабенки, и принялся внимательно рассматривать плащ. Аскилт, в свою очередь, устался на плечи мужика-покупателя и от изумления остолбенел. Я тоже не без волнения посматривал на молодца: мне показалось, что это тот самый, который нашел за городом мою тунику. Конечно, это был он! Но Аскилт боялся поверить своим глазам и, чтобы не действовать опрометчиво, стащил тунику с плеч мужика под предлогом, будто желает купить ее, и принялся внимательно ее ощупывать.

13. О, удивительная игра Судьбы! Мужик до сих пор не полюбопытствовал ощупать швы туники и продавал ее с отвращением, как нищенские лохмотья. Аскилт, убедившись, что сокровище неприкосновенно и что продавец – неважная птица, отвел меня в сторонку и сказал:

– Знаешь, братец, к нам вернулось сокровище, о котором я сокрушался. Эта самая милая туника, видимо, еще полна нетронутых золотых. Ну, что делать? На каком основании получить обратно нашу вещь?

Я, обрадованный не столько возвращением добычи, сколько тем, что фортуна сняла с меня позорное обвинение, отверг всяческие увертки и посоветовал добиваться своего по всем статьям гражданского права: если мужик откажется вернуть чужую собственность законным владельцам, то потребовать, чтобы на нее наложили арест.

14. Аскилт же, напротив, законов боялся.

– Кто нас здесь знает? – говорил он. – Кто поверит нашим словам? Пусть мы доподлинно уверены, что эта вещь наша, но все же мне больше улыбается купить ее и вернуть сокровище за небольшую плату, чем затевать тяжбу, которая неведомо чем кончится.

Чем нам поможет закон, если правят в суде только деньги,  
Если бедняк никого не одолеет вовек?  
Даже и те мудрецы, что котомку киников носят,  
Тоже за деньги порой истине учат своей.  
Приговор судей – товар, и может купить его каждый.  
Всадник присяжный в суде платный выносит ответ.

Но в наличности у нас не было ничего, кроме дипондия, на который мы собирались купить гороха и волчьих бобов. Поэтому, чтобы добыча от нас не ускользнула, мы решили сбавить цену с плаща и выгодной сделкой возместить небольшую потерю. Когда мы объявили нашу цену, женщина с покрытой головой, стоявшая рядом с крестьянином, стала пристально рассматривать метки на плаще, а потом вдруг обеими руками вцепилась в подол и заголосила во все горло: «Держи воров!»

Мы же с перепугу ничего лучше не придумали, как, в свою очередь, ухватиться за грязную, рваную тунику и во всеуслышание объявить, что, дескать, эти люди завладели нашей одеждой. Но слишком неравным было наше положение, и сбежавшиеся на крик торгошники приняли – не без причин, конечно, – издеваться над нашей жадностью: ведь одна сторона тре-

бовала драгоценную одежду, а другая – лохмотья, которые и на лоскутное одеяло негодились. Но Аскилт живо унял смех и, когда молчание воцарилось, сказал:

15. – Как видно, каждому дорого свое: поэтому пусть берут свой плащ, а нам отдадут нашу тунику.

Предложение понравилось и крестьянину и женщине, но какие-то крючкотворы, а вернее сказать, – жулики, позарившись на плащ, громко потребовали, чтобы до завтра, когда судья разберет дело, обе вещи были переданы им на хранение. Дело, по их словам, было не только в вещах, из-за которых разгорелась тяжба, но и в том, что, видно, обе стороны можно заподозрить в воровстве, – вот в чем следовало разобраться.

Толпа одобрила конфискацию, и один из торгашей, лысый и прыщеватый, который, при случае, вел тяжбы, заграбастал плащ, уверяя, что представит его на следующий день. Впрочем, затея этих мошенников была ясна: просто они хотели присвоить попавший им в руки плащ, думая, что мы, испугавшись обвинения в воровстве, на суд не явимся. Того же самого хотели и мы. Таким образом, случай потворствовал и нашим и их желаниям. Мы потребовали, чтобы мужик выдал нашу тунику, и он в сердцах швырнул ее в лицо Аскилту и, таким способом избавившись от иска, велел нам сдать посреднику плащ, который теперь уже был единственным предметом спора...

Мы поспешно вернулись в гостиницу, уверенные, что наше сокровище снова у нас в руках, и, заперев двери, вдоволь нахохотались над догадливостью торгашей и кляузников, которые от большого ума отдали нам столько денег.

16. Едва принялись мы за изготовленный стараниями Гитона ужин, как раздался довольно решительный стук в дверь.

– Кто там? – спросили мы, побледнев с испуга.

– Открой, – был ответ, – и узнаешь.

Пока мы переговаривались, соскользнувший засов сам по себе упал, и настежь распахнувшиеся двери пропустили гостью.

Это была женщина под покрывалом, без сомнения, та самая, что несколько времени тому назад стояла рядом с мужиком на рынке.

– Смеяться, что ли, вы надо мною вздумали? – сказала она. – Я рабыня Квартиллы, чье таинство вы осквернили у входа в пещеру. Она сама пришла в гостиницу и просит разрешения побеседовать с вами; вы не смущайтесь: она не осуждает, не винит вас за эту оплошность, она только удивляется, какой бог занес в наши края столь изысканных юношей.

17. Пока мы молчали, не зная, на что решиться, в комнату вошла сама госпожа в сопровождении девочки и, сев на моей постели, принялась плакать. Мы не могли вымолвить ни слова и, остолбенев, глядели на слезы женщины, проливаемые нарочно, чтобы всем показать ее горе. Когда же этот на зависть сделанный ливень наконец перестал свирепствовать, она обратилась к нам, сорвав с горделивой головы покрывало и так сжав руки, что суставы хрустнули:

– Откуда вы набрались такой дерзости? Где научились уловкам, в которых превзошли всех сказочных разбойников? Ей-богу, мне жаль вас, но еще никто безнаказанно не видел того, чего видеть не должно. Наша округа полным-полна богов-покровителей, так что бога здесь легче встретить, чем человека. Но не подумайте, что я ради мести сюда явилась: привело меня сострадание к вашей юности, а не моя обида. Думается мне, лишь по легкомыслию совершили вы сей неискупаемый проступок. Я промучилась всю сегодняшнюю ночь, меня охватил опасный озноб, и я испугалась – не приступ ли это третичной лихорадки. Я вопрошала исцеления во сне, и было мне знамение – обратиться к вам и укротить недуг указанной мне хитростью. Но не только об исцелении хлопочу я: большее горе запало мне в сердце и непременно сведет меня в могилу, – как бы вы, по юношескому легкомыслию, не разболтали виденное вами в святилище Приапа и не открыли черни божественных тайн. Посему простираю к коленам вашим молитвенно обращенные длани, прошу и умоляю: не смейтесь, не издевайтесь над

ночными богослужениями, не открывайте встречному-поперечному вековых тайн, которых и тысяча человек не знает.

18. После этой мольбы она снова залилась слезами и, горько рыдая, прижалась лицом и грудью к моей постели.

Я, движимый одновременно жалостью и страхом, попросил ее ободриться и не сомневаться ни в том, что тайнств мы не разгласим, ни в том, что мы готовы, если божество укажет ей еще какое-либо средство против лихорадки, прийти на помощь небесному промыслу, хотя бы с опасностью для жизни. После такого обещания женщина сразу повеселела, не отерев слез, засмеялась и стала целовать меня частыми поцелуями, а рукою, как гребнем, зачесывать мне волосы, спадавшие на уши.

– Итак, мир! – сказала она. – Я отказываюсь от иска. Но если бы вы не захотели дать мне требуемое лекарство, то назавтра уже была бы готова целая толпа мстителей за мою обиду и поруганное достоинство.

Стыдно отвергнутой быть; но быть самовластной – прекрасно.  
Больше всего я люблю путь свой сама избирать.  
Если презреть мудреца, то и он начинает браниться.  
Тот, кто врага не добьет, – тот победитель вдвойне...

Затем, захлопав в ладоши, она вдруг принялась так хохотать, что нам страшно стало. Смеялась и девчонка, ее сопровождавшая, смеялась и служанка, прежде вошедшая.

19. Все они гоготали, как мимы, мы же, не понимая причины столь быстрой перемены настроения, смотрели то на женщин, то друг на друга...

– По моему приказу ни единого смертного не пустят сегодня в эту гостиницу, ибо я желаю без долгих проволочек получить от вас лекарство против лихорадки.

При этих словах Квартиллы Аскилт немного опешил, я же сделался холоднее галльского снега и не мог проронить ни слова. Только малочисленность ее свиты немного меня успокаивала. Если бы они захотели на нас покушаться, то против нас, каких ни на есть, но мужчин, были бы всего-навсего три слабые бабенки. Мы, несомненно, были боеспособнее, и я уже обдумал расстановку сил на случай, если бы пришлось драться: я справлюсь с Квартиллой, Аскилт – с рабыней, Гитон же – с девочкой...

Тут нас, онемевших от ужаса, окончательно покинуло всякое мужество, и предстала взору неминуемая гибель...

20. – Умоляю тебя, госпожа, – сказал я, – если ты задумала что недоброе, кончай скорее: не так уж велик наш проступок, чтобы за него погибать под пытками...

Служанка, которую звали Психеей, между тем постлала на полу ковер... Аскилт закрыл голову плащом, зная по опыту, как опасно подсматривать чужие секреты... Рабыня вытащила из-за пазухи две тесьмы и связала ими нам руки и ноги...

\* \* \*

– Как же так? Значит, я недостоин выпить? – спросил Аскилт, воспользовавшись минутой, когда болтовня несколько стихла.

Мой смех выдал каверзу служанки.

– Ну и юноша, – всплеснув руками, – один выпил столько сатириона!

– Вот как? – спросила Квартилла. – Энколпий выпил весь запас сатириона?..

...Вся тряслась, смеясь не без приятности... и даже Гитон не мог удержаться от хохота, в особенности когда девчонка бросилась ему на шею и, не встречая сопротивления, осыпала его бесчисленными поцелуями...

21. Мы попробовали было позвать на помощь, но никто нас выручать не явился, да, кроме того, Психея, каждый раз, когда я собирался закричать «караул», начинала головной шпилькой колоть мне щеки; девчонка же, обмакивая кисточку в сатирион, мазала ею Аскилта... Напоследок явился кинэд в зеленой одежде из мохнатой шерсти, подпоясанный кушаком. Он то терся об нас раздвинутыми бедрами, то пачкал нас вонючими поцелуями. Наконец Квартилла, подняв хлыст из китового уса и высоко подпоясав платье, приказала дать нам, несчастным, передышку...

Оба мы поклялись священной клятвой, что эта ужасная тайна умрет с нами...

Затем пришли палестриты и, по всем правилам искусства, умастили нас. Забыв про усталость, мы надели застольные одежды и были отведены в соседний покой, где стояло три ложа и вся обстановка отличалась роскошью и изяществом. Нас пригласили возлечь, угостили великолепной закуской, просто залили фалерном. После нескольких перемен нас стало клонить ко сну.

– Это что такое? – спросила Квартилла. – Вы собираетесь спать, хотя прекрасно знаете, что подобает чтить гений Приапа всеобщим бдением?

22. Когда утомленного столькими бедами Аскилта окончательно сморило, отвергнутая с позором рабыня взяла и намазала ему, сонному, все лицо углем и разрисовала плечи и губы. Да и я, усталый от всех неприятностей, тоже чуть пригубил сна. Заснула и вся челядь в комнате и за дверями: одни валялись вперемешку у ног возлежавших, другие дремали, прислонившись к стенам, третьи примостились на пороге – голова к голове. Выгоревшие светильники бросали свет тусклый и слабый. В это время два сирийца прокрались в триклиний с намерением уворовать бутылку вина, но, от жадности подравшись на уставленном серебряной утварью столе, разбились. Стол с серебром опрокинулся, и упавший с высоты кубок чуть не размозил голову рабыне, валявшейся на ложе. Она громко завизжала от боли, так что крик ее и воров выдал, и часть пьяных разбудил. Воры-сирийцы, поняв, что их сейчас поймут, тоже растянулись вдоль ложа, словно они уже давно тут, и принялись храпеть, притворяясь спящими. Распорядитель пира подлил масла в полупотухшие лампы, мальчики, протерев глаза, вернулись к своей службе, и, наконец, вошедшая музыкантша, ударив в кимвал, пробудила всех.

23. Пир возобновился, и Квартилла снова призвала всех налечь на вино. Кимвалистка много способствовала веселью пирующих...

24. Гитон стоял тут же и чуть не вывихнул челюстей от смеха. Тут только Квартилла обратила на него внимание и спросила с любопытством:

– Чей это мальчик?

Я сказал, что это мой братец.

– Почему же в таком случае, – осведомилась она, – он меня не поцеловал?

И, подозревая его к себе, подарила поцелуем.

Затем, засунув ему руку под одежду и найдя на ощупь неиспользованный еще сосуд, сказала:

– Это завтра послужит прекрасной закуской к нашим наслаждениям. Сегодня же после разносолов не хочу харчей.

25. При этих словах Психея со смехом подошла к ней и что-то неслышно шепнула.

– Вот-вот, – ответила Квартилла, – ты прекрасно надумала: почему бы нам сейчас не лишиться девства нашу Паннихис, благо случай выходит?

Немедленно привели девочку, довольно хорошенькую, на вид лет семи, не более, – ту самую, что приходила к нам в комнату вместе с Квартиллой. При всеобщих рукоплесканиях, по требованию публики, стали справлять свадьбу. В полном изумлении я принялся уверять,

что, во-первых, Гитон, стыдливейший отрок, не подходит для такого безобразия, да и лета девочки не те, чтобы она могла вынести закон женского подчинения.

– Да? – сказала Квартилла. – Но разве она сейчас младше, чем я была в то время, когда впервые отдалась мужчине? Да прогневаешься на меня моя Юнона, если я хоть когда-нибудь помню себя девушкой. В детстве я путалась с ровесниками, потом пошли юноши постарше, и так до сей поры. Отсюда, верно, и пошла пословица: «Кто поднимал теленка, поднимет и быка».

Боясь, как бы без меня с братцем не обошлись еще хуже, я присоединился к свадьбе.

26. Уже Психея окутала голову девочки огненного цвета фатой; уже кинэд нес впереди факел; пьяные женщины, рукоплеща, составили процессию и застлали брачное ложе непристойным покрывалом. Возбужденная этой сладострастной игрой, сама Квартилла встала и, схватив Гитона, потащила его в спальню. Без сомнения, мальчик не сопротивлялся, да и девочка вовсе не была испугана словом «свадьба». Пока они лежали за закрытыми дверями, мы уселись на пороге спальни, впереди всех Квартилла, со сладострастным любопытством следившая через бесстыдно проделанную щелку за ребячьей забавой. Дабы и я мог полюбоваться тем же зрелищем, она осторожно привлекла меня к себе, обняв за шею, а так как в этом положении щеки наши соприкасались, то она время от времени поворачивала ко мне голову и как бы украдкой целовала меня...

\* \* \*

Бросившись на свои постели, мы без страха проспали остальную часть ночи.

\* \* \*

Настал третий день, день долгожданного свободного пира, но нам, получившим столько ран, более улыбалось бегство, чем покойное житье.

Итак, мы мрачно раздумывали, как бы нам отворотить надвигавшуюся грозу, как вдруг один из рабов Агамемнона испугал нас окриком.

– Как, – говорил он, – разве вы не знаете, у кого сегодня пируют? У Трималхиона, изящнейшего из смертных; в триклинии у него стоят часы, и к ним приставлен особый трубач, возвещающий, сколько часов жизни безвозвратно потерял хозяин.

Позабыв все невзгоды, мы тщательно оделись и велели Гитону, который охотно согласился выдать себя за нашего раба, следовать за нами в бани.

27. Одетые, разгуливали мы по баням – просто так, для своего удовольствия, – подходя к кружкам играющих, как вдруг увидели лысого старика в красной тунике, игравшего в мяч с кудрявыми мальчиками. Нас привлекли не столько мальчики, – хотя и на них стоило посмотреть, – сколько сам почтенный муж в сандалиях, игравший зелеными мячами: мяч, коснувшийся земли, больше не поднимали, а свой запас игроки возобновляли из полной сумки, которую держал раб. Мы заметили одно новшество. По обеим сторонам круга стояли два евнуха: один из них держал серебряный ночной горшок, другой считал мячи, но не те, которыми во время игры перебрасывались из рук в руки, а те, что падали наземь. Пока мы удивлялись этим роскошным прихотям, к нам подбежал Менелай:

– Вот тот, у кого вы сегодня обедаете, а вступлением к пиршеству уже сейчас любуетесь.

Еще во время речи Менелая Трималхион прищелкнул пальцами. По этому знаку один из евнухов подал ему горшок. Освободив свой пузырь, Трималхион потребовал воды для рук и, слегка смочив пальцы, вытер их о волосы одного из мальчиков.

28. Долго было бы рассказывать все подробности. Словом, мы отправились в баню и, пропотев как следует, поскорее перешли в холодное отделение. Там надушенного Трималхиона уже вытирали, но не полотном, а простынями из мягчайшей шерсти. Три массажиста пили

у него на глазах фалерн; когда они, поспорившись, пролили много вина, Трималхион назвал это свиной здравицей. Затем его завернули в ярко-алую байку, он возлег на носилки и двинулся в путь, предшествуемый четырьмя медно-украшенными скороходами и ручной тележкой, в которой ехал его любимчик: старообразный, подслеповатый мальчишка, уродливее даже самого хозяина, Трималхиона. Пока его несли, над его головой, словно желая что-то шепнуть на ушко, склонялся музыкант, всю дорогу игравший на крошечной флейте. Мы же, вне себя от изумления, следовали за ним и вместе с Агамемноном пришли к дверям, на которых висело объявление, гласившее:

*Если раб без господского приказа выйдет за ворота, то получит сто ударов.*

У самого входа стоял привратник в зеленом платье, подпоясанный вишневым поясом, и на серебряном блюде чистил горох. Над порогом висела золотая клетка, откуда пестрая сорока приветствовала входящих.

29. Задрав голову, чтобы рассмотреть все диковинки, я чуть было не растянулся навзничь и не переломал себе ног. Дело в том, что по левую руку, недалеко от каморки привратника, был нарисован на стене огромный цепной пес, а над ним большими прямоугольными буквами было написано:

*Берегись собаки.*

Товарищи мои захохотали. Я же, оправившись от испуга, не поленился пройти вдоль всей стены. На ней был изображен невольничий рынок, и сам Трималхион, еще кудрявый, с кадуцеем в руках, ведомый Минервою, торжественно вступал в Рим (об этом гласили пояснительные надписи). Все передал своей кистью добросовестный художник и объяснил в надписях: и как Трималхион учился счетоводству, и как сделался рабом-казначеем. В конце портика Меркурий, подняв Трималхиона за подбородок, возносил его на высокую трибуну. Тут же была и Фортуна с рогом изобилия, и три Парки, прядущие золотую нить. Заметил я в портике и целый отряд скороходов, обучавшихся под наблюдением наставника. Кроме того, увидел я в углу большой шкаф, в нише которого стояли серебряные Лары, мраморное изображение Венеры и довольно большая засмоленная золотая шкатулка, где, как говорили, хранилась первая борода самого хозяина. Я расспросил привратника, что изображает живопись внутри дома.

– Илиаду и Одиссею, – ответил он, – и бой гладиаторов, устроенный Ленатом.

30. Но некогда было все разглядывать. Мы уже достигли триклиния, в передней половине которого домоправитель проверял счета. Но что особенно поразило меня в триклинии, так это пригвожденные к дверям дикторские пучки прутьев с топорами, оканчивающиеся внизу бронзовым подобием корабельного носа, на котором значилась надпись:

*Г. Помпею Трималхиону, севиру августалов, Киннам-казначей.*

Надпись освещалась спускавшимся с потолка двурогим светильником, а по бокам ее были прибиты две доски; на одной из них, помнится, имелась нижеследующая надпись:

*В третий день до январских календ и накануне наш Гай обедает вне дома.*

На другой же были изображены фазы Луны и ход семи светил и равным образом обозначены разноцветными шариками дни счастливые и несчастливые. Достаточно налюбовавшись этим великолепием, мы хотели войти в триклиний, как вдруг мальчик, специально назначенный для этого, крикнул нам:

– Правой ногой!

Мы, конечно, немного потоптались на месте, опасаясь, как бы кто-нибудь из нас не переступил через порог несогласно с предписанием. Наконец, когда все разом мы занесли правую ногу, неожиданно бросился перед нами навзничь уже раздетый для бичевания раб и стал умо-

лять избавить его от казни, – невелика вина, за которую его преследуют: он не устерег в бане одежды домоправителя, стоящей не больше десяти сестерциев. Каждый из нас вновь опустил правую ногу перед порогом, и все мы стали просить домоправителя, пересчитывавшего в триклинии червонцы, простить раба. Он гордо приосанился и сказал:

– Не потеря меня рассердила, а ротозейство этого негодного раба. Он потерял застольную одежду, подаренную мне ко дню рождения одним из клиентов. Была она, конечно, тирийского пурпура, но уже однажды мытая. Все равно! Ради вас прощаю.

31. Едва мы, побежденные таким великодушием, вошли в триклиний, раб, за которого мы просили, подбежал к нам и осыпал нас, остолбеневших от смущения, целым градом поцелуев, благодаря за милосердие.

– Впрочем, – говорил он, – вы скоро увидите, кого облагодетельствовали. Господское вино – вот благодарность раба-виночерпия.

Когда наконец мы возлегли, молодые александрийские рабы облили нам руки снежной водой, за ними последовали другие, омывшие нам ноги и старательно обрезавшие все заусенцы на пальцах. При этом они, не прерывая своего неприятного дела, все время, не смолкая, пели. Я пожелал узнать на опыте, вся ли челядь состоит из певчих, и попросил пить; услужливый мальчик исполнил мою просьбу, распевая так же пронзительно; и то же самое делали все, что бы у них ни попросили. Какая-то пантомима с хором, а не триклиний почтенного дома!

Между тем подали изысканную закуску; все возлегли на ложа, исключая только самого Трималхиона, которому, по новой моде, оставили высшее место за столом. Посреди подноса стоял ослик коринфской бронзы с выюками вперемет, в которых лежали с одной стороны белые, а с другой – черные оливки. Над ослем возвышались два серебряных блюда, по краям их были выгравированы имя Трималхиона и вес серебра, а на спаянной подставке вроде мостика лежали жареные сони с приправой из мака и меда. Были тут также и горячие колбаски на серебряной решетке, а под решеткой – сирийские сливы и гранатовые зерна.

32. Мы наслаждались этими роскошествами, когда появился сам Трималхион; его внесли под звуки музыки и уложили на малюсеньких подушечках, что рассмешило неосторожных. Его скобленая голова высовывалась из ярко-красного паллия, а вокруг и без того закутанной шеи он еще намотал шарф с широкой пурпурной оторочкой и свисающей там и сям бахромой. На мизинце левой руки красовалось огромное позолоченное кольцо; на последнем же суставе безымянного, как мне показалось, – настоящее золотое, поменьше размером, с припаянными к нему железными звездочками. А чтобы выставить напоказ и другие драгоценности, он обнажил до самого плеча правую руку, украшенную золотым запястьем и еще скрепленным сверкающей бляхой браслетом из слоновой кости.

33. – Друзья, – сказал он, ковыряя в зубах серебряной зубочисткой, – не по душе еще было мне выходить в триклиний, но, чтобы не задерживать вас дольше, я отказываю себе во всех удовольствиях. Позвольте мне только окончить игру.

Следовавший за ним мальчик принес столик терпентинового дерева и хрустальные кости; я заметил нечто донельзя утонченное: вместо белых и черных камешков здесь были золотые и серебряные денарии. Пока он за игрой исчерпал все рыночные прибаутки, нам, еще во время закуски, подали репозиторий, а на нем корзину, в которой, растопырив крылья, как наседка на яйцах, сидела деревянная курица. Сейчас же прибежали два раба и под звуки пронзительной музыки принялись шарить в соломе; вытащив оттуда павлиньи яйца, они роздали их пирующим. Тут Трималхион обратил внимание на это зрелище и сказал:

– Друзья, я велел положить под курицу павлиньи яйца. И, ей-ей, боюсь, что в них уже цыплята вывелись. Попробуем-ка, съедобны ли они.

Мы взяли по ложке, весившей не менее полуфунта каждая, и вытащили яйца, слепленные из крутого теста. Я чуть было не бросил это яйцо: мне показалось, что в нем уже лежал цыпленок, но потом услышал, как какой-то старый сотрапезник крикнул:

– Э, да тут, видно, что-то вкусное!

И, облупив яйцо рукою, я вытащил жирного винноградника, приготовленного под соусом из перца и желтка.

34. Трималхион, прервав игру, потребовал себе всего, что перед тем ели мы, и громким голосом дал разрешение всякому, кто пожелает, требовать еще медового вина. В это время, по данному знаку, грянула музыка, и тотчас же поющий хор убрал подносы с закусками. В суматохе упало большое серебряное блюдо; один из мальчиков его поднял, но заметивший это Трималхион велел надавать рабу затрецин, а блюдо бросить обратно на пол. Явившийся буфетчик стал выметать серебро вместе с прочим сором за дверь. Затем пришли два кудрявых эфиопа, оба с маленькими бурдюками вроде тех, из которых рассыпают песок в амфитеатрах, и омыли нам руки вином: воды никто не подал. Восхваляемый за такую утонченность хозяин сказал:

– Марс любит равенство. Поэтому я велел поставить каждому особый столик. К тому же нам не будет так жарко от множества вонючих рабов.

В это время принесли старательно запечатанные гипсом стеклянные амфоры, на горлышках которых имелись ярлыки с надписью:

*Опиммианский фалерн. Столетний.*

Когда надпись была прочтена, Трималхион всплеснул руками и воскликнул:

– Увы, увy нам! Так, значит, вино живет дольше, чем людишки! Посему давайте пить, ибо в вине жизнь. Я вас угощаю настоящим опиммианским; вчера я не такое хорошее выставил, а обедали люди почище вас.

Мы пили и удивлялись столь изысканной роскоши. В это время раб притащил серебряный скелет, так устроенный, что его сгибы и позвонки свободно двигались во все стороны. Когда его несколько раз бросили на стол и он, благодаря подвижному сцеплению, принимал разнообразные позы, Трималхион воскликнул:

– Горе нам, беднякам! О, сколь человечешко жалок!  
Станем мы все таковы, едва только Орк нас похитит.  
Будем же жить хорошо, други, куда живем.

35. Возгласы одобрения были прерваны появлением репозитория, по величине не совсем оправдавшего наши ожидания. Однако его необычность привлекла к нему все взоры. На круглом блюде были выложены кольцом двенадцать знаков зодиака, причем на каждом кухонный архитектор разместил соответствующие яства. Над Овном – овечий горох, над Тельцом – говядину кусочками, над Близнецами – почки и тестикулы, над Раком – венок, над Львом – африканские фиги, над Девой – матку неогулявшейся свиньи, над Весами – настоящие весы с горячей лепешкой на одной чашке и пирогом на другой, над Скорпионом – морскую рыбку, над Стрельцом – лупоглаза, над Козерогом – омара, над Водолеем – гуся, над Рыбами – двух краснорыбок. Посередке, на дернине с подстриженной травой, возвышался медовый сот. Египетский мальчик обнес нас хлебом на серебряном противне, причем препротивным голосом выл что-то из мима «Ласерпициария».

Видя, что мы довольно кисло принялись за эти убогие кушанья, Трималхион сказал:

– Советую приступить к обеду. Это закон трапезы!

36. При этих словах четыре раба, приплясывая под музыку, подбежали и сняли с репозитория верхний поднос. И мы увидели другой поднос, а на нем птиц и свиное вымя и посередине зайца, украшенного крыльями, как бы в виде Пегаса. На четырех углах подноса мы заметили четырех Марсиев, из мехов которых обильно вытекала подливка прямо на рыб, плававших

точно в канале. Мы разразились рукоплесканиями, начало которым положили домочадцы, и весело принялись за изысканные кушанья.

– Режь! – воскликнул Трималхион, не менее всех восхищенный удачной выдумкой.

Сейчас же выступил вперед стольник и принялся в такт музыки резать кушанье с таким грозным видом, что казалось, будто эсседарий сражается под звуки водяного органа. Между тем Трималхион все время разнеженным голосом повторял:

– Режь! Режь!

Заподозрив, что в этом бесконечном повторении заключается какая-нибудь острота, я не постеснялся спросить о том соседа, возлежавшего выше меня.

Тот, часто выдававший подобные шутки, ответил:

– Видишь раба, который режет кушанье? Его зовут Режь. Итак, восклицая: «Режь!», Трималхион одновременно и зовет и приказывает.

37. Наевшись до отвала, я обратился к своему соседу, чтобы как можно больше разузнать. Начав издали, я осведомился, что за женщина мечется взад и вперед по триклинию.

– Жена Трималхиона, – ответил сосед, – по имени Фортуната. Мерами деньги считает. А недавно кем была? С позволения сказать, ты бы из ее рук куска хлеба не принял. А теперь ни с того ни с сего вознесена до небес. Всё и вся у Трималхиона! Скажи она ему в самый полдень, что сейчас ночь, – поверит! Сам он толком не знает, сколько чего у него имеется, – до того он богат. А эта волчица все насквозь видит, где и не ждешь. В еде и в питье умеренна, на совет торовата – золото, не женщина. Только зла на язык: настоящая сорока на перине. Кого полюбит – так полюбит, кого невзлюбит – так уж невзлюбит! Земли у Трималхиона – коршуну не облететь, деньгам счету нет; здесь в каморке привратника больше валяется серебра, чем у иного за душой есть. А рабов-то, рабов-то, ой-ой-ой сколько! Честное слово, пожалуй, и десятая часть не знает хозяина в лицо. Словом, он любого из здешних балбесов в рутовый лист свернет.

38. И думать не могли, чтобы он что-нибудь покупал на стороне: шерсть, померанцы, перец – все дома растет; птичьего молока захочется – и то найдешь. Показалось ему, что домашняя шерсть недостаточно хороша, так он в Таренте баранов купил и пустил их в стадо. Чтобы дома производить аттический мед, он завез пчел из самых Афин, – кстати, и доморожденные пчелки станут показистее благодаря гречаночкам. Да вот только на днях он написал в Индию, чтобы ему прислали семян шампиньонов. Если есть у него мул, то непременно от онагра. Видишь, сколько подушек? Все до единой набиты пурпурной или багряной шерстью. Вот какое ему счастье выпало! Но и его товарищей-вольноотпущенников остерегись презирать. И они не без сока. Видишь вон того, что возлежит на нижнем ложе последним? Теперь у него восемьсот тысяч сестерциев, а ведь начинал с пустого места: недавно еще бревна на спине таскал. Но говорят, – не знаю, правду ли, а только слышал, – что он стащил у Инкубона шапку и нашел клад. Я-то никогда не завидую, если кому что бог пошлет. Но у него еще щека горит, потому и хочется ему разгуляться. Недавно он вывесил такое объявление:

*Г. Помпей Диоген сдает квартиру в июльские календы по случаю покупки собственного дома.*

А тот, что возлежит на месте вольноотпущенников? Как здорово пожил! Я его не осуждаю. У него уже маячил перед глазами собственный миллион, – но свихнулся бедняга. Не знаю, есть ли у него на голове хоть единый волос, свободный от долгов! Но, честное слово, вина не его, потому что он сам отличный мальчик. Вся беда от подлецов вольноотпущенников, которые его добро на себя перевели. Сам знаешь: «Артельный котел плохо кипит» и «Где дело пошатнулось, там друзья за дверь». А каким почтенным делом занимался он, прежде чем дошел до теперешнего состояния! Он был устроителем похорон. Обедал словно царь: кабаны прямо в щетине, птица, печенья, повара, пекаря... вина под стол проливали больше, чем у иного в

погребе хранится. Не человек, а сказка! Когда же дела его пошатнулись, он, боясь, что кредиторы сочтут его несостоятельным, выпустил следующее объявление:

*Г. Юлий Прокул устраивает аукцион излишних вещей.*

39. Трималхион перебил эти приятные речи. Когда убрали вторую перемену и повеселевшие гости принялись за вино, а разговор стал общим, Трималхион, приподнявшись на локте, сказал:

– Это вино вы сами должны подсластить: рыба посуху не ходит. Спрашиваю вас: как повашему, доволен ли я тем кушаньем, что вы видели на верхнем подносе репозитория? «Таким ли вы знали Улисса?» Что же это значит? А вот что! И за едой не надо забывать о словесности. Да почиет в мире прах моего патрона! Это он захотел сделать меня человеком среди людей. Для меня нет ничего неизвестного, как показывает это блюдо. Небо-то это, в котором обитают двенадцать богов, принимает раз за разом двенадцать видов и прежде всего становится Овном. Кто под этим знаком родился, у того будет много скота, много шерсти. Голова у него крепкая, лоб бесстыжий, рога острые. Под этим знаком родится много буквоедов и пройдох.

Мы рассыпались в похвалах остроумию новоявленного астронома. Он продолжал:

– Затем все небо становится Тельцом. Тогда рождаются такие, что лягнуть могут, и волопасы, и те, что сами себя пасут. Под Близнецами рождаются парные кони, быки и шулята и те, что двух маток сразу сосут. Под Раком родился я; потому-то я на многих ногах стою и на суше и на море многим владею, ибо Рак и тут и там на своем месте. Поэтому я давно уж ничего на этот знак не кладу, чтобы не отягощать своей судьбы. Подо Львом рождаются обжоры и властолюбцы. Под Девой – женщины, беглые рабы и колодники. Под Весами – мясники, парфюмеры и вообще те, кто что-нибудь отвешивает. Под Скорпионом – отравители и убийцы. Под Стрельцом – косоглазые, что на зелень косятся, а сало хватают. Под Козерогом – те, у которых от многих бед рога вырастают. Под Водолеем – трактирщики и тыквенные головы. Под Рыбами – повара и риторы. Так и вертится круг, подобно жернову, и всегда нелегкая так устраивает, что кто-нибудь либо рождается, либо помирает. И вон та дернина, что вы видите посредине, и медовый сот на ней – все это я не без причины устроил. Мать-земля посредине всего, она кругла, как яйцо, и заключает в себе все хорошее, точь-в-точь как сот.

40. «Браво!» – воскликнули мы все в один голос и, воздев руки к потолку, поклялись, что Гиппарха и Арата мы, по сравнению с ним, и за людей не считаем. Но тут появились рабы и постлали перед ложами ковры, на которых были изображены охотники с рогатинами, а рядом сети и прочая охотничья утварь. Мы просто не знали, что и подумать, как вдруг за дверью триклиния раздался невероятный шум, и вот лаконские собаки забегали вокруг стола. Вслед за тем было внесено огромное блюдо, на котором лежал изрядной величины кабан с шапкой на голове, державший в зубах две корзиночки из пальмовых веток: одну с карийскими, другую с фиванскими финиками. Вокруг кабана лежали поросята из пирожного теста, будто присосавшись к вымени, что должно было изображать супорось; поросята предназначались в подарок нам. Рассечь кабана взялся не Режь, резавший ранее птицу, а огромный бородач в тиковом охотничьем плаще, с обмотками на ногах. Вытащив охотничий нож, он с силой ткнул кабана в бок, и из разреза выпорхнула стая дроздов. Птицеловы, стоявшие наготове с клейкими прутьями, скоро переловили разлетевшихся по триклинию птиц. Тогда Трималхион приказал дать каждому гостю по дрозду и сказал:

– Видите, какие отличные желуди сожрала эта дикая свинья?

Тут же рабы взяли из зубов кабана корзиночки и разделили финики обоих сортов между пирующими.

41. Между тем я, лежа на покойном месте, долго ломал голову, стараясь понять, зачем кабана подали в колпаке? Исчерпав все догадки, я обратился к своему прежнему толкователю за разъяснением мучившего меня вопроса.

– Твой покорный слуга легко объяснит тебе все, – ответил он, – никакой загадки тут нет, дело ясное. Вчера этого кабана подали на стол последним, и пирующие отпустили его на волю: итак, сегодня он вернулся на стол уже вольноотпущенником.

Я проклял свою глупость и решил больше его не расспрашивать, чтобы не казалось, будто я никогда с порядочными людьми не обедал. Пока мы так разговаривали, прекрасный юноша, увенчанный виноградными лозами, с корзинкой в руках обносил нас виноградом и, именуя себя то Бромием, то Лием, то Эвием, тонким, пронзительным голосом пел стихи своего хозяина. При этих звуках Трималхион обернулся к нему.

– Дионис, – вскричал он, – будь свободным!

Юноша стащил с кабаньей головы колпак и надел его.

– Теперь вы не станете отрицать, – сказал Трималхион, – что в доме у меня Либер-Отец.

Мы похвалили удачную остроту Трималхиона и прямо зацеловали обходившего триклиний мальчика.

После этого блюда Трималхион встал и пошел облегчиться. Мы же, освобожденные от присутствия тирана, стали вызывать сотрапезников на разговор. Дама первый потребовал большую братину и заговорил:

– Что такое день? Ничто. Не успеешь оглянуться – уж ночь на дворе. Поэтому ничего нет лучше, как из спальни прямо переходить в триклиний. Ну и холод же нынче; еле в бане согрелся. Но «глоток горячего винца – лучшая шуба». Я клюкнул и совсем осовел... вино в голову ударило.

42. Селевк уловил отрывок разговора и сказал:

– Я не каждый день моюсь; банщик что валяльщик; у воды есть зубы, и жизнь наша ежедневно подтачивается. Но я опрокину стаканчик медового вина, и наплевать мне на холод. К тому же я не мог вымыться: я сегодня был на похоронах. Добрейший Хрисанф, прекрасный мальчик, побывшился; так еще недавно окликнул он меня на улице; кажется мне, что я только что с ним разговаривал. Ох, ох! Все мы ходим точно раздутые бурдюки; мы стоим меньше мухи: потому что и у мухи есть свои доблести, – мы же просто-напросто мыльные пузыри. А что было бы, если бы он не был воздержан? Целых пять дней ни крошки хлеба, ни капли воды в рот не взял и все-таки отправился к праотцам. Врачи его погубили, а вернее, злой Рок. Врач ведь – это только самоутешение. Вынос был что надо: роскошные ковры, великолепное погребальное ложе, и оплакали его на славу, – ведь он многих отпустил на волю; только жена плакала скверно. А что бы еще было, если бы он с ней не обращался так хорошо? Но женщина – это женщина: коршуново племя. Никому не надо делать добра: все едино, что в колодец бросить. Но старая любовь цепка, как рак...

43. Он всем надоел, и Филерот вскричал:

– Поговорим о живых! Этот свое получил: в почете жил, с почетом помер. На что ему жаловаться? Начал он с одного асса и готов был из навоза зубами полушку вытащить. И так рос, пока не вырос, словно сот медовый. Клянусь богами, я уверен, что он оставил тысяч сто, и все звонкой монетой. Однако скажу о нем всю правду, потому в этом деле я семь собак без соли съел. Был он груб на язык, большой ругатель – свара ходячая, а не человек. Куда лучше был его брат: друзьям друг, хлебосол, щедрая рука. Поначалу ему не повезло, но первый же сбор винограда поставил его на ноги: он продавал вино почем хотел; а что окончательно заставило его поднять голову, так это наследство, из которого он больше украл, чем ему было завещано. А эта дубина, обозлившись на брата, оставил по завещанию всю вотчину какому-то курицыну сыну. Дорожка от родных далеко заводит! Но были у него слуги-наушники, которые его погубили. Легковерие никогда до добра не доводит, особенно торгового человека. Однако верно, что он сумел попользоваться жизнью... Неважно, кому назначалось, важно, кому досталось. А уж его Фортуна любила, как родного сыночка. У него в руках и свинец в золото превращался. Легко тому, у кого все идет как по маслу. Как вы думаете, сколько лет унес он с собой в могилу?

Семьдесят с лишком. А ведь он был крепкий, точно роговой, здорово сохранился, черен, что вороново крыло. Я с ним давным-давно знаком был. И до последних дней был распутником, ей-богу! Даже суке и то не давал проходу. И насчет мальчишек был горазд – вообще на все руки мастер. Я его не осуждаю; ведь больше ничего с собой в могилу не унесешь.

44. Так разглагольствовал Филерот; а вот что нес Ганимед:

– Говорите вы все ни к селу ни к городу; почему никто не побеспокоится, что нынче хлеб кусаться стал? Честное слово, я сегодня кусочка хлеба найти не мог. А засуха-то все по-прежнему! Целый год голодаем. Эдилы – чтоб им пусто было! – с пекарями стакнулись. Да, «ты – мне, я – тебе». Бедный народ страдает, а этим ненасытным глоткам всякий день Сатурналии. Эх, будь у нас еще те львы, каких я застал, когда только что приехал из Азии! Вот это была жизнь!.. Так били этих кикимор, что они узнали, как Юпитер сердится. Помню я Сафиния! Жил он (я еще мальчишкой был) вот тут, у старых ворот; перец, а не человек! Когда шел, земля под ним горела! Зато прямой! Зато надежный! И друзьям друг! С такими можно впотьмах в морру играть. А посмотрели бы вы в курии! Иного, бывало, так отбреет! А говорил без вывертов, напрямик. Когда вел дело на форуме, голос его гремел как труба, и никогда при этом он не потел и не плевался. Думаю, что это ему от богов дано было. А как любезно отвечал на поклон! Всех по именам знал, ну, прямо – свой брат. В те поры хлеб не дороже грязи был. Купишь его на асс – вдвоем не съесть; а теперь – меньше бычьего глаза. Нет, нет! С каждым днем все хуже; город наш, словно телячий хвост, назад растет! Да кто виноват, что у нас эдил трехгрошовый, которому асс дороже нашей жизни? Он втихомолку над нами посмеивается. А в день получает больше, чем иной по отцовскому завещанию. Уж я-то знаю, за что он получил тысячу золотых; будь мы настоящими мужчинами, ему бы не так привольно жилось. Нынче народ такой: дома – львы, на людях – лисицы. Что же до меня, то я проел всю одежонку, и, если дороговизна продлится, придется и домишки мои продать. Что же это будет, если ни боги, ни люди не сжалятся над нашей колонией? Чтобы мне не видать радости от семьи, если я не думаю, что беда ниспослана нам небожителями. Никто небо за небо не считает, никто постов не блюдет, никто Юпитера и в грош не ставит; все только и знают, что добро свое считать. В прежнее время выходили именитые матроны босые, с распущенными волосами, на холм и с чистым сердцем вымаливали воды у Юпитера, – и сразу лил дождь как из ведра. Сразу же или никогда. И все возвращались мокрые как мыши. А теперь у богов ноги не ходят из-за нашего неверия. Поля заброшены...

45. – Пожалуйста, – сказал Эхион-лоскутник, – выражайся приличнее. «Раз – так, раз – этак», как сказал мужик, потеряв пегую свинью. Чего нет сегодня, то будет завтра: в том вся жизнь проходит. Ничего лучше нашей родины нельзя было бы найти, если бы жители здесь были людьми. Но не она одна страдает в нынешнее время. Нечего привередничать: все под одним небом живем. Попади только на чужбину, так начнешь верить, что у нас свиньи жареные разгуливают. Вот, например, будут нас угощать на праздники три дня подряд превосходными гладиаторскими играми; выступит труппа не какого-нибудь латисты, а несколько настоящих вольноотпущенников. И Тит наш – широкая душа и горячая голова; так или этак, а ублажить сумеет, уж я знаю: я у него свой человек. Он ничего не делает вполсилы. Оружие будет дано первостатейное, удирать – ни-ни; сражайся посередке, чтобы всему амфитеатру видно было. Благо средств-то у него хватит: тридцать миллионов сестерциев ему досталось, как бедняга отец его помер. Если он и четыреста тысяч выбросит, мощна его даже и не почувствует, а он увековечит свое имя. У него есть несколько парней, и женщина-эсседария, и Гликонов казначей, которого накрыли, когда он забавлялся со своей госпожой. Увидишь, как народ разделится: одни будут за ревнивца, другие за любезника. И Гликон-то хорош! Самому грош цена, а казначея отдаст зверям. Что называется, самого себя выставил на посмешище. Разве раб виноват? Делает, что ему велят. Уж лучше бы эту ночную посудину бык посадил на рога. Но так всегда: кто не может по ослу, тот бьет по седлу. И как мог Гликон вообразить, что из Гер-

могенова отродья выйдет что-нибудь путное? Тот мог бы коршуну на лету когти подстричь. От змеи не родится канат. Гликон, один Гликон внакладе: на всю жизнь пятно на нем останется, и разве что смерть его смоет! Но всякий сам себе грешен. Да вот еще: есть у меня предчувствие, что Маммея нам скоро пир задаст, – там-то уж и мне и моим по два денария достанется. Если он сделает это, то Норбану уже не бывать любимцем народа: вот увидите, он теперь обгонит его на всех парусах. Да и вообще, что хорошего сделал нам Норбан? Дал гладиаторов грошовых, полудохлых, – дунешь на них, и повалятся; и бестиариев я видал получше; всадники, которых он выставил на убой, – точь-в-точь человечки с ламповой крышки! Сушие цыплята; один – увалень, другой – кривоногий; а терциарий-то! За мертвеца мертвец с подрезанными жилами. Пожалуй, еще фракиец был ничего себе; да и тот дрался разве что по правилам. Словом, всех после секли, а публика так и кричала: «Наддай!» Настоящие зайцы! Он скажет: «Я вам устроил игры», – а я ему: «А мы тебе хлопаем». Посчитай, и увидишь, что я тебе больше даю, чем от тебя получаю. Рука руку моет.

46. Мне кажется, Агамемнон, ты хочешь сказать: «Чего тараторит этот надоеда?» Но почему же ты, записной краснойбай, ничего не говоришь? Ты не нашего десятка, вот и смеешься над речами бедных людей. Мы-то знаем, что ты от большой учености свихнулся. Но это не беда. Уж когда-нибудь я тебя уговорю приехать ко мне на хутор, посмотреть наш домишко; найдется чем перекусить: яйца, курочка. Хорошо будет, хоть в этом году погода и испакостила весь урожай. А все-таки разыщем, чем червяка заморить. Потом и ученик тебе растет – мой парнишка. Он уже и делить на четыре может. Вырастет, к твоим услугам будет. И теперь все свободное время не поднимает головы от таблиц; умненький он у меня и поведения хорошего, только очень уж птицами увлекается. Я уж трем щеглам головы свернул и сказал, что их ласка съела. Но он нашел другие забавы и рисовать любит. Кроме того, начал он уже греческий учить, да и за латынь принялся неплохо, хотя учитель его слишком уж стал самодоволен, не сидит на одном месте. Приходит и просит дать книгу, а сам работать не желает. Есть у него и другой учитель, не очень ученый, да зато старательный; учит и тому, чего сам не знает. Он приходит к нам обыкновенно по праздникам и всем доволен, что ему ни дай. Недавно купил я сыночку несколько книг с красными строками: хочу, чтобы понюхал немного законы для ведения домашних дел. Занятие это хлебное. В словесности он уж довольно испачкался. Если она ему опротивеет, я его какому-нибудь ремеслу обучу; отдам, например, в цирюльники, в глашатаи или, скажем, в стряпчие. Это у него одна смерть отнять может. Каждый день я ему твержу: «Помни, первенец: все, что зубришь, для себя зубришь. Посмотри на Филерона, стряпчего: если бы он не учился, давно бы с голоду подох. Не так давно еще был разносчиком, а теперь с самим Норбаном потягаться может. Наука – это клад, и искусный человек никогда не пропадет».

47. В таком роде шла болтовня, пока не вернулся Трималхион. Он отер пот со лба, вымыл в душистой воде руки и сказал после недолгого молчания:

– Извините, друзья, но у меня уже несколько дней нелады с желудком; врачи теряются в догадках. Облегчили меня гранатовая корка и хвойные шишки в уксусе. Надеюсь, теперь мой желудок за ум возьмется. А то как забурчит у меня в животе, подумаешь – бык заревел. Если и из вас кто надобность имеет, так пусть не стесняется. Никто из нас не родился запечатанным. Я лично считаю, что нет большей муки, чем удерживаться. Этого одного сам Юпитер запретить не может. Ты смеешься, Фортуната? А кто мне ночью спать не дает? Никому в этом триклинии я не хочу мешать облегчаться; да и врачи запрещают удерживаться, а если кому потребуется что-нибудь посерьезнее, то за дверьми все готово: сосуды, вода и прочие надобности. Поверьте мне, ветры попадают в мозг и производят смятение во всем теле. Я знавал многих, которые умерли оттого, что не решались в этом деле правду говорить.

Мы благодарили его за снисходительность и любезность и усиленной выпивкой старались подавить смех. Но мы не подозревали, что еще не прошли, как говорится, и полпути до вершины всех здешних роскошеств. Когда со стола под звуки музыки убрали посуду, в триклиний

привели трех белых свиней в намордниках и с колокольчиками на шее, глашатай объявил, что это – двухлетка, трехлетка и шестилетка. Я вообразил, что пришли фокусники и свиньи станут выделять какие-нибудь штуки, словно перед кружком уличных зевак. Но Трималхион рассеял недоумение.

– Которую из них вы хотите сейчас увидеть на столе? – спросил он. – Потому что петухов, Пенфеево рагу и прочую дребедень и мужики изготовят; мои же повара привыкли и цельного теленка в котле варить.

Тотчас же он велел позвать повара и, не ожидая нашего выбора, приказал заколоть самую крупную.

– Ты из которой декурии? – повысив голос, спросил он.

– Из сороковой, – отвечал повар.

– Тебя купили или же ты родился в доме?

– Ни то ни другое, – отвечал повар, – я достался тебе по завещанию Пансы.

– Смотри же, хорошо приготовь ее. А не то я тебя в декурию посыльных разжалую.

Повар, познавший таким образом могущество своего господина, последовал за своей будущей стряпней на кухню.

48. Трималхион же, любезно обратившись к нам, сказал:

– Если вино вам не нравится, я скажу, чтобы переменили; а вас прошу придать ему вкус своею беседой. По милости богов я ничего не покупаю, а все, от чего слюнки текут, произрастает в одном моем пригородном поместье, которого я даже еще и не видел. Говорят, оно граничит с моими террацинскими и тарентийскими землями. Теперь я хочу прикупить себе и Сицилию, чтобы, если мне вздумается проехаться в Африку, не выезжать из своих владений. Но расскажи нам, Агамемнон, какую такую речь ты сегодня произнес? Я хотя лично дел и не веду, тем не менее для домашнего употребления красноречию все же обучался, не думай, пожалуйста, что я пренебрегаю ученьем. Теперь у меня две библиотеки: одна греческая, другая латинская. Скажи поэтому, если любишь меня, резюме твоей речи.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.